

ИОГАНН ХРИСТОФ ФРИДРИХ

ШИЛЛЕР

СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ



ГОСЛИТИЗДАТ

МОСКВА - ЛЕНИНГРАД

ИОГАНН ХРИСТОФ ФРИДРИХ  
ШИЛЛЕР

Т О М

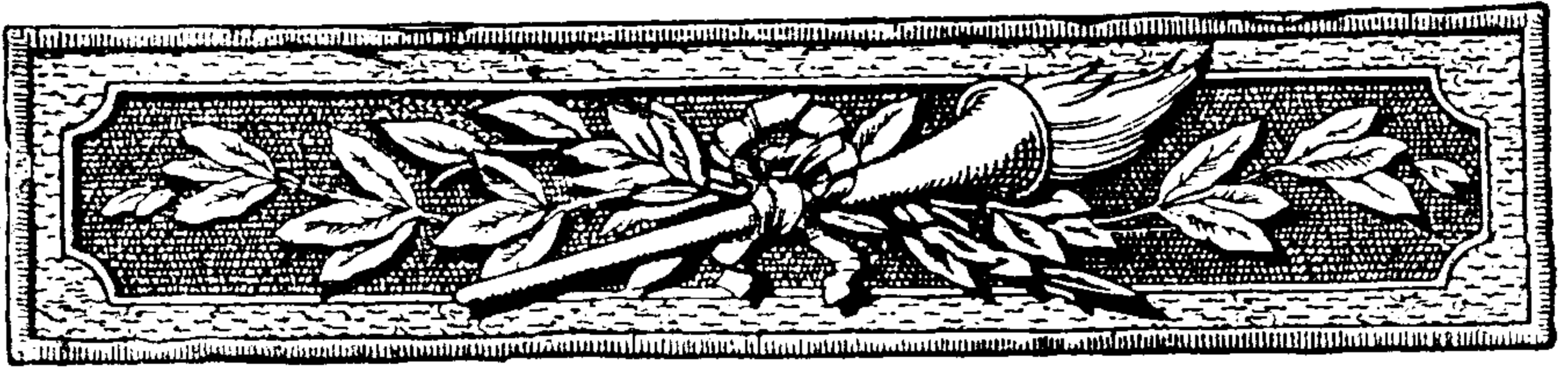
 VI 

СТАТЬИ  
ПО  
ЭСТЕТИКЕ



ГОСЛИТИЗДАТ

1 9 5 0



## О ПРИЧИНЕ УДОВОЛЬСТВИЯ, ДОСТАВЛЯЕМОГО ТРАГИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ

(1792)

Как ни стараются некоторые новейшие эстетики защитить, точно от оскорбительного упрека, искусства воображения и чувства от всеобщего убеждения, что целью их служит удовольствие, это убеждение, однако, останется и в дальнейшем, как и прежде, непоколебимым, и изящные искусства неохотно променяют свое исконное, бесспорное и благотворное призвание на новое, до которого их так великодушно хотят возвысить. Не заботясь о том, как бы их назначение, имеющее в виду наше удовольствие, не унизило их, они, наоборот, будут гордиться тем преимуществом, что непосредственно создают то, что все прочие направления и деятельности человеческого духа могут выполнить лишь *косвенным* путем. В том, что цель природы по отношению к человеку есть его блаженство, хотя бы сам человек в своей моральной деятельности не знал этой цели, не усомнится, конечно, ни один человек, вообще усматривающий какую-либо целесообразность в природе. Таким образом, изящные искусства сходны с последней, или, вернее, с ее создателем, в основной цели: сеять наслаждение и творить счастливых. Играя, дают они то, что их более серьезные сестры заставляют нас добывать с тяжелым трудом; они дарят то, что там бывает обыкновенно лишь наградой, с трудом добытой чрезвычайными усилиями.

Напряженным прилежанием приходится нам покупать наслаждения рассудка, мучительными жертвами — одобрение разума, тяжелыми лишениями — чувственные наслаждения, а то еще искупать вереницей страданий их излишество; одно искусство дает нам радости, которые не надо зарабатывать, которые не требуют жертв, которые не приходится искупать раскаянием. Кто же поставит заслугу *такого* наслаждения в один ряд с жалкой заслугой *забавы*? Кому придет в голову отрицать эту первую цель у изящных искусств лишь потому, что она выше второй?

Исходящее из благих пожеланий намерение сделать высшею целью всего нравственное добро, — намерение, давшее искусству и взявшее под свою защиту так много посредственных произведений, причинило такой же вред и теории. Чтобы возвысить искусства в чине, чтобы снискать им благосклонность государства и благоговение человечества, их изгоняют из их родной области и навязывают им чуждое и совершенно несвойственное их природе призвание. Им рассчитывают оказать великую услугу, подставляя им вместо их легкомысленного призвания *забавлять* — цель моральную; и их влияние на нравственность, так бросающееся в глаза, как будто подкрепляет эту мысль. То, что искусство, с такой силой содействующее высшей цели человечества, производит это действие лишь мимоходом, а само имеет своим конечным стремлением столь пошлую цель, какую считают удовольствие, кажется противоречием. Но это кажущееся противоречие могло бы быть очень легко устранено точной теорией удовольствия, если бы мы таковую имели, и законченной философией искусства. Последняя показала бы, что свободное удовольствие, доставляемое искусством, целиком основывается на моральных условиях, что при этом принимает деятельное участие вся нравственная природа человека. Она показала бы также, что создание этого удовольствия есть цель, достижимая исключительно лишь путем нравственных средств, что таким образом искусство, стремясь к полному достижению удовольствия, как к своей истинной цели, должно идти путем морали. А для оценки искусства совершенно безразлично, моральна ли его цель или лишь достижима моральными средствами, ибо и в том и в другом случае ему все равно приходится считаться

с нравственностью и действовать в теснейшем союзе с нравственным чувством; между тем для совершенства искусства далеко не безразлично, что именно будет считаться его целью и что — средством. Если целью его служит нравственность, то оно теряет то, что дает ему все его могущество, — свою свободу — и то, что сообщает ему столь всеобщее действие, — прелесть наслаждения. Игра обращается в серьезное дело; а между тем именно игра могла бы лучше всего выполнить это дело. Лишь проявляя свое *высшее* эстетическое воздействие, может искусство оказывать благодетельное влияние на нравственность; но лишь пользуясь полнейшей свободой, может оно исполнять свое высшее эстетическое назначение.

Известно далее, что всякое удовольствие, поскольку оно вытекает из нравственных источников, улучшает человека в нравственном отношении и что здесь действие должно в свою очередь стать причиной. Наслаждение прекрасным, трогательным, возвышенным укрепляет наши нравственные чувства, равно как удовольствие от благодеяния, любви и т. д. укрепляет все эти склонности. Как жизнерадостный дух есть верный удел высоконравственного человека, так нравственная высота бывает часто спутницей жизнерадостного духа. Таким образом, искусство оказывает нравственное действие не только потому, что доставляет удовольствие путем нравственных средств, но и потому, что удовольствие, доставляемое искусством, служит само путем к нравственности.

Средства, которыми искусство достигает своих целей, так же многообразны, как многообразны вообще источники свободного удовольствия. Но *свободным* я называю такое удовольствие, при котором деятельное участие принимают духовные силы, разум и воображение, при котором чувство рождается представлением, — в противоположность физическому или чувственному удовольствию, при котором душа подчинена слепой естественной необходимости и ощущение следует непосредственно за своей физической причиной. Чувственное наслаждение — единственное, исключенное из области прекрасных искусств, и умение возбуждать чувственное наслаждение никогда не может возвыситься до искусства, исключая лишь тот случай, когда чувственные впечатления расположены, усилены или умерены по определенному художественному плану, и эта плано-

мерность очевидна для представления. Но и в этом случае *искусством* будет здесь лишь то, что является предметом свободного удовольствия, а именно вкус в расположении, радующий наш рассудок, а никак не физические прелести, доставляющие удовольствие лишь нашей чувственной природе.

Всеобщий источник всякого, в том числе и чувственного, удовольствия есть целесообразность. Мы называем удовольствие чувственным, когда целесообразность не очевидна для нашего представления, но лишь по закону необходимости имеет своим физическим следствием чувство удовольствия. Так, целесообразное движение крови и жизненных сил в отдельных органах или в целом организме производит в нас ощущение физического наслаждения во всех его видах и формах; мы чувствуем эту целесообразность чрез посредство приятного ощущения, но мы не можем представить ее себе ни в определенном, ни в смутном виде.

Удовольствие свободно, когда мы имеем *представление* целесообразности и приятное ощущение сопровождает представление; таким образом, все представления, при посредстве которых мы познаем гармонию и целесообразность вещей, являются источниками свободного удовольствия и потому могут быть применены искусством для этой цели. Они разделяются на следующие виды: добро, истина, совершенство, красота, трогательное, возвышенное. Добром занимается наш разум, истиною и совершенством — рассудок, прекрасным — рассудок с воображением, трогательным и возвышенным — разум с воображением. Правда, услаждает нас уже чувственная прелесть или деятельная сила, но искусство пользуется чувственной прелестью лишь для того, чтобы присоединить ее к высшим чувствам целесообразности; рассматриваемая сама по себе, она сливается с прочими жизненными чувствами, и искусство отвергает ее, как и все чувственные наслаждения.

Разнообразие источников, из которых искусство черпает удовольствие, доставляемое им нам, само по себе не дает еще никакого права классифицировать искусства, так как в одном и том же виде искусства могут сливаться многие, а часто и все роды удовольствия. Но поскольку известный род удовольствия является главной целью, он может служить если не для выделения особого

вида искусства, то хоть для особой точки зрения на произведения искусства. Так, например, те искусства, которые, по преимуществу, удовлетворяют ум и воображение, те, стало быть, которые имеют своей главной целью истину, совершенство, красоту, — можно объединить под названием *прекрасных* искусств (искусств вкуса, искусств ума); те, наоборот, которые занимают, по преимуществу, воображение и разум и, стало быть, имеют своим предметом добро, возвышенное и трогательное, могут быть выделены в особую группу под названием искусств *трогательных* (искусств чувства, сердца). Конечно, невозможно совершенно отделить трогательное от прекрасного, но прекрасное может вполне обойтись без элемента трогательного. Итак, если это разнообразие точек зрения не может служить основой для исчерпывающей классификации свободных искусств, то оно дает, по крайней мере, возможность определить точнее основные начала их обсуждения и избежать путаницы, которая становится неизбежной, когда при определении эстетических законов смешивают совершенно различные области трогательного и прекрасного.\*

Трогательное и возвышенное сходны в том, что они возбуждают удовольствие при посредстве неудовольствия, другими словами — в том, что они (так как удовольствие есть результат целесообразности, страдание же есть следствие противоположного) дают ощущение целесообразности, предполагающей *нецелесообразность*.

Чувство возвышенного состоит, с одной стороны, в чувстве нашего *бессилия* и невозможности охватить известный предмет, но, с другой стороны, — в чувстве нашей *мощи*, которая не знает границ и духовно подчиняет себе то, пред чем склоняются наши физические силы. Таким образом, предмет возвышенного сильнее наших физических сил, и эта нецелесообразность необходимо должна вызывать в нас известное неудовольствие. Но эта нецелесообразность в то же время является поводом к осознанию другой нашей способности, которая сильнее того, пред чем оказалось бессильным воображение. Итак, именно вследствие того, что он сталкивается с чувственной природой, возвышенный предмет представляется целесообразным разуму и, причиняя страдание при посредстве низших способностей, доставляет удовольствие через посредство высших.

Быть растроганным в строгом смысле слова значит испытывать смешанное ощущение страдания и наслаждения, вызываемого этим страданием. Таким образом, растрогаться своим же несчастьем возможно лишь в том случае, когда страдание от этого несчастья достаточно умеренно, чтобы дать место удовольствию, какое испытал бы при этом сострадательный свидетель. Потеря значительного имущества поражает нас горем сегодня, и наше горе *трогает* зрителя; но через год — мы сами уже лишь *растроганы*, когда вспоминаем об этом горе. Слабый — всегда жертва своего страдания, для героя и мудреца величайшие личные несчастья лишь *трогательны*.

Как и чувство возвышенного, растроганность состоит из двух составных частей — страдания и удовольствия; и здесь, стало быть, как и там, в основе целесообразности лежит нецелесообразность. Так, нецелесообразностью в природе представляется то, что человек, по существу не предназначенный к страданию, все же страдает, и эта нецелесообразность причиняет нам боль. Но эта боль нецелесообразности целесообразна для нашей разумной природы, поскольку она вызывает нас к деятельности, целесообразна для человеческого общества. Поэтому даже неудовольствие, возбуждаемое в нас нецелесообразностью, должно необходимо доставлять нам удовольствие, ибо это неудовольствие целесообразно. Чтобы определить, что именно выступит на первый план, когда человек растроган, — удовольствие или неудовольствие, необходимо установить, что перевешивает: представление целесообразности или нецелесообразности. Это в свою очередь может зависеть от совокупности целей, которые достигаются или попираются, или же от их отношения к конечной цели всех целей.

Страдания добродетельного человека трогают нас болезненнее, чем страдания порочного, ибо в первом случае мы видим противоречие не только общей цели человека — быть счастливым, но и частной цели — быть счастливым посредством добродетели, тогда как во втором случае мы видим лишь противоречие общей цели. Наоборот, счастье злодея возбуждает в нас гораздо более болезненное чувство, чем несчастье добродетельного человека, ибо, во-первых, в самом пороке, а во-вторых, в награждении порока заключается нецелесообразность.



Кроме того, добродетель гораздо более способна вознаграждать себя, чем счастливый порок — наказывать себя; поэтому именно скорее человек честный останется и в беде верным добродетели, чем порочный в счастье обратится на путь добродетели.

Но более всего определение отношения удовольствия к неудовольствию в трогательном зависит от того, какая цель важнее — поправная ли важнее достигнутой или достигнутая важнее поправной. Нет целесообразности более важной для нас, чем целесообразность моральная, и ничто не может быть выше удовольствия, доставляемого нам ею. Естественная целесообразность всегда остается для нас проблематичной, моральная несомненна для нас. Лишь она основана на нашей разумной природе и на внутренней необходимости. Она — ближайшая, важнейшая и в то же время самая очевидная для нас, ибо она не определяется ничем внешним, но исключительно внутренним началом нашего разума. Она — палладиум нашей свободы.

Эта моральная целесообразность наиболее живо познается в тех случаях, когда в борьбе с другими она получает преобладание; вся сила нравственного закона проявляется во всей полноте только в том случае, когда он приходит в столкновение со всеми остальными естественными силами и все они в присутствии его теряют свою власть над человеческим сердцем. Под этими естественными силами подразумевается все то, что не может быть названо моральным, все, что находится вне высшего законодательства разума, то есть ощущения, побуждения, аффекты, страсти, равно как физическая необходимость и судьба. Чем страшнее враги, тем славнее победа; лишь противодействие делает силу очевидной. Из этого следует, что высшее сознание нашей моральной природы может поддерживаться лишь под насилием, лишь в борьбе и что высшее моральное наслаждение всегда сопровождается страданием.

Таким образом, тот поэтический род, который дает нам высшую степень морального наслаждения, должен именно по этой причине пользоваться смешанными ощущениями и возбуждать в нас удовольствие при посредстве страдания. Это исполняет, по преимуществу, трагедия, и область ее охватывает все возможные случаи,

в которых какая бы то ни было естественная целесообразность приносится в жертву моральной или одна моральная целесообразность другой, высшей. Быть может, было бы возможно, по степени, в какой одна моральная целесообразность проявляется и ощущается в борьбе с другой, построить лестницу удовольствия от низшего к высшему и, исходя из начала целесообразности, определить а priori степень приятной или тягостной растроганности. Мало того, быть может, на основании этого же принципа можно было бы а priori установить определенные разряды трагедии, перечислить все возможные виды трагедии в исчерпывающей таблице, так что получилась бы возможность указать каждой данной трагедии ее место и наперед определить как вид ее трогательного действия, так и его степень, которую она, по свойству своему, переступить не может. Но этот предмет требует особого рассмотрения.

В какой степени в нашем сознании представление моральной целесообразности пользуется предпочтением пред естественной целесообразностью, будет всего яснее видно по нескольким примерам.

Когда мы видим привязанными к роковому столбу Гюона и Аманду,\* которые оба, по свободному выбору, предпочитают лучше умереть страшной смертью на костре, чем неверностью любимому существу достигнуть престола, — то что делает для нас эту сцену предметом столь небесного наслаждения? Противоречие между данным их состоянием и счастливой участью, которую они отвергли, кажущаяся нецелесообразность природы, награждающей добродетель страданием, противоестественный отказ от эгоизма и т. п. — все это, исполняя нашу душу таким множеством представлений нецелесообразного, должно было бы возбудить в нас чувствительнейшую боль, — но что нам до природы со всеми ее целями и законами, если она своей нецелесообразностью является поводом показать нам во всем ее блеске моральную целесообразность в нас. Впечатление победоносной мощи нравственного закона, которое мы получаем при этом виде, представляет собой столь высокое, столь существенное благо, что мы испытываем даже искушение примириться со злом, которому обязаны всем этим. Радость, возбуждаемая в нас гармо-

нией в царстве свободы, бесконечно сильнее, чем неприятное чувство, вызываемое всеми противоречиями мира природы.

Когда Кориолан, побежденный долгом супруга, сына и гражданина, покидает почти покоренный Рим, подавляет в себе чувство мести, уводит свое войско и отдает себя в жертву завистливому сопернику, он, очевидно, совершает весьма нецелесообразное действие; вследствие этого шага он не только теряет плоды всех своих побед, но сознательно стремится к гибели, — однако, с другой стороны, как великолепно, как невыразимо величественно это предпочтение разрыва со своей склонностью разрыву с нравственным чувством, эта решимость, вопреки всем правилам благоразумия, попрасть высшие физические интересы, лишь бы действовать в полном согласии с высшим моральным долгом! Всякая жертва жизнью нецелесообразна, ибо жизнь есть условие всех благ; но пожертвовать жизнью с моральными целями в высшей степени целесообразно, ибо жизнь не имеет никакого значения сама по себе, важна не как цель, но лишь как путь к нравственности. Если поэтому мы имеем случай, где жертва жизнью есть средство к достижению нравственных целей, то жизнь должна уступить здесь нравственности. «Нет необходимости, чтобы я жил, но спасти Рим от голода необходимо», говорит великий Помпей,\* когда, перед отплытием в Африку, друзья уговаривают его отложить отъезд, пока пройдет буря.

Но страдание преступника доставляет нам с трагической точки зрения не меньшее наслаждение, чем страдание человека добродетельного; и однако, мы получаем в этом случае впечатление моральной нецелесообразности. Противоречие его поведения с нравственными законами возмущает нас; нравственное несовершенство, предполагаемое таким поведением, должно бы огорчить нас даже и в том случае, если бы мы не принимали в расчет страдания невинных, падающих его жертвой. Здесь нет никакого удовлетворения моральностью действующих лиц, которое могло бы вознаградить нас за то мучительное чувство, которое сообщают нам их действия и страдания, — и все же и те и другие представляют собою весьма благодарный предмет для искусства, за которым мы следим с высоким удовольствием. Нетрудно показать согласие этого явления с вышесказанным.

Не только покорность велениям нравственного закона дает нам представление моральной целесообразности, но и скорбь о нарушении его. Печаль, порождаемая сознанием морального несовершенства, целесообразна, потому что соответствует чувству удовлетворения, сопровождающему сознание моральной правоты. Раскаяние, самобичевание, даже в его высшем проявлении — в форме отчаяния, морально возвышенны, потому что они никогда не могли бы быть переживаемы, если бы в груди преступника не бодрствовало неподкупное чувство правды и неправды, утверждающее свои права вопреки даже деятельнейшему противодействию эгоизма. Раскаяние в каком-либо поступке проистекает из сопоставления его с нравственным законом и есть неодобрение этого поступка, ибо он противоречит нравственному закону. Следовательно, в минуту раскаяния нравственный закон есть высший суд в душе такого человека; этот закон должен быть для него важнее, чем результат преступления, ибо сознание, что нравственный закон нарушен, отравляет для него приятное пользование этим результатом. Но состояние души, в котором нравственный закон признается высшим судилищем, морально целесообразно и, стало быть, может явиться источником нравственного наслаждения. И что может быть возвышеннее героического отчаяния, которое попирает все жизненные блага и самую жизнь, ибо не может вынести и заглушить порицающий голос своего внутреннего судьи! Жертвует ли добровольно своей жизнью человек добродетельный, чтобы действовать согласно с нравственным законом, или преступник сам под гнетом совести лишает себя жизни собственной рукою, чтобы покарать себя за нарушение этого закона, — наше уважение к нравственному закону равно возрастает в обоих случаях; и если бы между ними и было какое-либо различие, то оно было бы скорее в пользу последнего случая, так как решимость добродетельного человека могла быть в известной степени облегчена для него блаженным сознанием правоты, а нравственная заслуга в известном поступке тем меньше, чем больше участия в нем имеют склонность и наслаждение. Раскаяние и отчаяние по поводу совершенного преступления показывают нам силу нравственного закона лишь позже, но не слабее; это картины возвышеннейшей нравственности, лишь начертанные в подневольном состоянии. Человек,

доведенный до отчаяния тем, что нарушил нравственный долг, именно в силу этого отчаяния уже возвратился к покорности этому долгу, и чем ужаснее он себя карает, тем могущественнее кажется нам нравственный закон, повелевающий ему.

Но бывают случаи, когда моральное наслаждение покупается лишь ценою морального страдания, и это имеет место тогда, когда приходится нарушить моральный долг, чтобы действовать согласно долгу более высокому и более общему. Если бы Кориолан, вместо того чтобы осаждать свой родной город, стоял с римским войском под стенами Анциума или Кориол, а мать его была из племени вольсков и мольбы ее имели бы такое же действие на него, то эта победа сыновнего долга произвела бы на нас противоположное впечатление. С покорностью матери боролись бы гораздо более высокие гражданские обязанности, которым, в случае столкновения, должно быть отдано предпочтение. Комендант, которому предоставлен выбор сдать город или видеть, как на его глазах зарежут его сына, попавшего в плен, без колебания выбирает последнее, потому что, по справедливости, долг по отношению к сыну ниже, чем долг по отношению к отечеству. Правда, в первое мгновение нас возмущает, как отец может в такой степени пожать естественное побуждение и отцовский долг, но мы тотчас же вслед за этим захвачены столь сладостным восхищением, что даже нравственное побуждение, и даже связанное с естественной склонностью, не может отклонить разум от истинного его пути. Когда коринфянин Тимолеон\* приказывает убить своего любимого, но честолюбивого брата Тимофана, потому что его представление о патриотическом долге обязывает его уничтожить все, что может быть опасно для республики, то, хотя мы не без содрогания и отвращения видим, как он совершает столь противоестественный и столь противный моральному чувству поступок, однако наше отвращение немедленно разрешается глубочайшим преклонением пред героической добродетелью, которая охраняет свои веления от всякого воздействия личной склонности и в бурном столкновении чувств выносит решения так же свободно и так же правильно, как и в состоянии величайшего покоя. Наши воззрения на республиканский долг могут совершенно разойтись со взглядами Тимолеона; это отнюдь не препятствует нашему

удовольствию. Наоборот, именно в тех случаях, где наш рассудок не на стороне действующего лица, там-то и видно, в какой степени мы ставим верность долгу выше целесообразности, согласие с разумом выше согласия с рассудком.

Но ни одно моральное явление не вызовет столь разноречивых суждений, как именно это, и причины такого разногласия найти не трудно. Правда, моральное чувство присуще всем людям; но не всем оно присуще с той силой и свободой, какие необходимо предполагает обсуждение этих случаев. Громадное большинство удовлетворяется одобрением поступка, когда его согласие с нравственным законом очевидно, и неодобрением, когда в глаза бросается его несогласие с этим законом. Но на ясном рассудке и на разуме, независимом от естественных сил, — а стало быть, и от всяких моральных побуждений (поскольку они являются инстинктивными), — лежит долг правильно определить отношение моральных обязанностей к высшему началу нравственности. Вот почему один и тот же поступок, в котором немногие усмотрят высшую целесообразность, покажется толпе возмутительным противоречием, хотя и те и другие произнесут моральный приговор; оттого и происходит, что растрогать такими поступками возможно далеко не всех, как того позволяло бы ожидать единство человеческой природы и необходимость морального закона. Но и самое истинное и величаво возвышенное представляется, как известно, многим преувеличением и нелепостью, ибо мера разума, признающего возвышенное, не у всех одинакова. Мелкая душонка склоняется во прах под гнетом столь высоких представлений или чувствует себя совершенно удрученной их моральной высотой. Не кажется ли часто пошлой толпе отвратительной бестолочью то, в чем дух мыслящий усматривает именно высший порядок?

Вот что нам нужно знать о чувстве моральной целесообразности, поскольку оно лежит в основе трагического умиления и удовольствия, доставляемого нам страданием. Но тем не менее есть немало случаев, в которых естественная целесообразность доставляет нам удовольствие, как будто даже за счет моральной. Высокая целесообразность, с которой злодей устраивает свои махинации, явно забавляет нас, хотя и его средства и его цели противоречат нашему

моральному чувству. Подобный человек способен привлечь наше живейшее участие, и мы трепещем, как бы не рухнули те самые планы, неудачи которых мы должны были бы страстно желать, если бы в самом деле всегда исходили из моральной целесообразности. Но и это явление не противоречит тому, что было сказано относительно чувства моральной целесообразности и его влияния на удовольствие, доставляемое нам трагическими переживаниями.

Целесообразность доставляет нам удовольствие при всех обстоятельствах, хотя бы она вовсе не имела никакого отношения к нравственному началу или противоречила ему. Мы испытываем это удовольствие в *чистом* виде, пока не вспоминаем о нравственной цели, которая здесь нарушена. Подобно тому как нас забавляют проявления похожего на ум инстинкта животных, трудолюбие пчел и т. п., хотя мы не приводим эту естественную целесообразность в связь с разумной волей и тем менее с какой-либо моральной целью, так и целесообразность всякого человеческого дела доставляет нам удовольствие сама по себе, если мы при этом не имеем в виду ничего, кроме отношения средств к их цели. Но как только мы вздумаем соотнести эту цель вместе с ее средствами с нравственным началом и откроем противоречие с этим последним, — словом, как только мы вспомним, что имеем пред собою действия морального существа, первоначальное удовольствие тотчас же сменяется глубоким негодованием, и никакая на свете рассудочная целесообразность не в силах примирить нас с представлением нравственной нецелесообразности. Мы никогда не должны представлять себе с особенной ясностью, что этот Ричард III, этот Яго, этот Ловелас\* — люди; иначе наше участие неизбежно обратится в нечто противоположное. То, что мы обладаем — и довольно часто пользуемся — способностью по своей воле отвлечь наше внимание с одной стороны предмета и направлять его на другую и что само удовольствие, которое только и возможно благодаря этому отвлечению внимания, побуждает нас к нему и удерживает в таком состоянии, — это подтверждается повседневным опытом.

Но нередко хитроумное злодеяние пользуется нашей благосклонностью преимущественно по той причине, что оно служит средством доставлять нам наслаждение моральной целесообразностью. Чем

опаснее западня, в которую Ловелас старается завлечь добродетель Клариссы,\* чем суровее испытания, которым изобретательная жестокость тирана подвергает стойкость своей невинной жертвы, с тем большим блеском одерживает триумф моральная целесообразность. Мы радуемся силе морального долга, которая заставляет изобретательность соблазнителя так изворачиваться, изощряться. Наоборот, мы ставим в некоторую заслугу последовательному злодею победу над моральным чувством, необходимо присущим, конечно, его душе, ибо эта победа свидетельствует об известной душевной силе и большой целесообразности рассудка, который в своей деятельности не дает себя смущать никакими моральными переживаниями.

Впрочем, бесспорно, что целесообразное злоумышление лишь в том случае может быть предметом полного удовлетворения, когда оно посрамляется нравственной целесообразностью. В этих случаях оно является даже существенным условием высшего удовольствия, ибо оно одно способно осветить со всей ясностью могущество морального чувства. Нет более убедительного доказательства этого, чем последнее впечатление, на котором с нами разлучается автор «Клариссы». Высшая рассудочная целесообразность, которую мы против своей воли восхищались в любовной тактике Ловеласа, победоносно унижена разумной целесообразностью, которую Кларисса противопоставляет этому страшному врагу ее невинности, и мы чувствуем, таким образом, в себе способность насладиться обеими целесообразностями.

Поскольку трагический поэт полагает своей целью довести чувство моральной целесообразности до степени живого сознания, поскольку он разумно выбирает и применяет средства для этой цели, — он всегда доставит знатоку удовольствие двояким путем — моральной целесообразностью и целесообразностью естественной. Одна удовлетворяет сердце, другая — рассудок. Толпа с равной слепотой испытывает действие, предназначенное художником для сердца, не замечая той магии, при посредстве которой искусство проявило эту власть над ним. Но есть известный разряд знатоков, для которых, наоборот, теряется действие, предназначенное художником для сердца, и вкус которых он зато привлекает целесообразностью примененных для этого средств. В это своеобразное противоречие нередко вырождается



утонченнейшая культура вкуса, особенно там, где моральное облагораживание отстаёт от рассудочного образования. Этого рода знатоки ищут в трогательном и возвышенном только рассудочного; последнее они умеют почувствовать и оценить с самым безошибочным чутьем; но ни в каком случае не следует обращаться к их сердцу. Возраст и культура влекут нас к этой подводной скале, и счастливо избежать пагубного влияния того и другого — высшая заслуга для образованного человека. Из европейских народов более всех к этой крайности приблизились наши соседи, французы, и мы, как во всем остальном, и здесь стремимся следовать этому образцу.

*Перевод А. Г. Горнфельда*

### О ПРИЧИНЕ УДОВОЛЬСТВИЯ, ДОСТАВЛЯЕМОГО ТРАГИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ

Опубликовано в журнале Шиллера «Новая Талия» 1792 г., № 1.

В летний семестр 1790 г. Шиллер читал в Иенском университете параллельно с лекциями по всеобщей истории курс «Теории трагического искусства». Тогда же Шиллер начал работать над письменным изложением идей своего курса, которое он собирался опубликовать (под названием «Теория трагедии») в № 12 «Талии» за 1790 г. Ни записки Шиллера к его лекциям, ни осуществленная им часть «Теории трагедии» в ее первоначальном виде до нас не дошли.

Настоящая статья (как и следующая статья «О трагическом искусстве») представляет переработку основных идей курса 1790 г., сделанную после того, как Шиллер ознакомился систематически с сочинениями Канта, в частности с его «Критикой способности суждения», и примкнул к общим философским воззрениям Канта. Написана она во второй половине 1791 г.

Первое знакомство Шиллера с идеями Канта относится еще к 1787 г., когда Шиллер по совету Рейнгольда ознакомился с историческими статьями Канта. Однако систематическое изучение Канта и влияние его философских и этических взглядов на Шиллера начинается с 1791—1792 гг.

Обращение Шиллера к философии и этике Канта явилось результатом краха освободительных идеалов поэта периода «Бури и натиска», вызванного отсталостью немецкой действительности и отсутствием в Германии широкого

общественного движения. Моральное учение Канта превращало идеал свободы из политического требования в отвлеченное моральное долженствование. Учение Шиллера о возвышенном и его понимание трагического, изложенное в настоящих работах, тесно связаны с этикой Канта и отражают ее идеалистический характер: взгляд на свободу как на победу морального долга над чувственностью, духовного начала в человеке над его физической, материальной стороной. Позднее, в статье «О грации и достоинстве», Шиллер будет стремиться преодолеть этот отвлеченный, идеалистический характер этики Канта (см. примечание к статье «О грации и достоинстве»).

Стр. 52. ...различные области трогательного и прекрасного. — В журнальном тексте далее следовали следующие строки, исключенные Шиллером при перепечатке статьи в 1802 г.: «В трогательном роде поэзии первое место занимают эпопея и трагедия. В первой трогательное сопутствует возвышенному, во второй — возвышенное трогательному. Пользуясь этим различием, можно было бы далее установить поэтические виды, которые воплощают исключительно возвышенное, и такие, которые воплощают только трогательное. В других видах трогательное превосходно сочеталось бы с прекрасным, намечая переход ко второму разряду искусств. Таким образом, было бы, вероятно, возможно, протянуть эту нить и через область изящных искусств и в наивысшем совершенстве найти обратный путь к возвышенному, чем был бы замкнут весь круг искусств».

Стр. 55. *Гюон и Аманда* — герои сказочно-рыцарской поэмы Виланда «Оберон» (1780). Эпизод, о котором говорит Шиллер, находится в 12-й песне поэмы Виланда (строфа 56 и след.).

Стр. 56. ...говорит великий Помпей. — В «Жизни Помпея» Плутарха (гл. 50).

Стр. 58. *Тимолеон* (IV в. до н. э.) — коринфский герой-республиканец, возглавлявший восстание против своего брата-тирана Тимофана.

Стр. 60. *Ловелас* — герой романа С. Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу» (1748).

Стр. 61. *Кларисса* — героиня романа С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу».